

**Военные  
Приключения**

# РУССКАЯ РУЛЕТКА



**ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ**

Военные приключения (Вече)

Валерий Поволяев

**Русская рулетка**

«ВЕЧЕ»

2011

## **Поволяев В. Д.**

Русская рулетка / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ», 2011 — (Военные приключения (Вече))

1921 год. Непокойно на советско-финской границе, то и дело пытаются прорваться через нее то контрабандисты, то отряды контрреволюционеров. Да и в Северной столице под руководством профессора Таганцева возникает «Петроградская боевая организация». В нее входят разные люди – от домохозяек до поэтов, вот только цель у них одна – свержение советской власти. Стоит ли удивляться, что жизнь пограничника Костюрина, боцмана Тамаева, царского подполковника Шведова, чекиста Крестова и многих других людей уподобляется знаменитой «русской рулетке»?

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая                      | 5  |
| Глава вторая                      | 13 |
| Глава третья                      | 22 |
| Глава четвёртая                   | 25 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 30 |

# Валерий Дмитриевич Поволяев

## Русская рулетка

### Роман

*Посвящается моему близкому товарищу Каро Сипки*

## Глава первая

Зимний Питер часто бывает угрюм, пустынен, над крышами домов плывут низкие плотные облака, смешиваются с дымами, медленно выползающими из давно не чищенных печных труб, ветер, приносящийся с моря, пробирает до костей, поэтому те, кто может сидеть дома, предпочитают дома и сидеть, на улицу не высовываются.

Ветер питерский, недобрый, холодный, солёный, рождает в груди тоску, стискивает горло, так сильно стискивает, что становится нечем дышать, потому-то у многих людей, встречающихся на петроградских тротуарах, лица бледные, в синеву. Им не хватает свежего воздуха.

У Костюрина имелась в Петрограде своя комната – угловая, тихая, расположенная в многонаселённой квартире в самом центре Северной столицы, на Лиговском проспекте, в большом доме, украшенном различными пилонами, капителями, розетками и прочими красивыми вещами, которые впоследствии будут величать архитектурными излишествами.

Раз в месяц Костюрин обязательно покидал свою пограничную заставу – оставлял её на замбоя (заместителя по боевой подготовке) Петра Широкова и отправлялся в Питер: дома надо было появляться регулярно, иначе комнату могли заселить каким-нибудь излишне шустрым жильцом, и такое в их доме уже бывало – это раз, и два – в каждый свой приезд домой Костюрин обязательно стремился где-нибудь побывать: на поэтическом вечере, на концерте заезжего молодого певца или в модном революционном театре на пьесе очередного горластого сочинителя...

Замбой Петя Широков был человеком надёжным, ему Костюрин верил как самому себе, плюс ко всему Широков был другом начальника заставы Костюрина, в восемнадцатом году они вместе трепали генерала Юденича в болотах под Питером, в свободное от боёв время дружно ругали генерала, величали его Кирпичом. Вообще-то они не были первопроходцами по части прозвища. Кирпичом Юденича величали ещё в годы Первой мировой войны, которую в четырнадцатом году называли Великой – слишком много стран ввязалось в неё, – да и физиономия у старого генерала была цвета хорошо прокалённого кирпича и очень даже подходила для такого прозвища.

Говорят, Юденич на это прозвище не обижался, терпел.

Костюрин перед своим домом остановился, оглядел его внимательно, словно хотел засечь изменения, которые произошли во внешнем облике здания. А ничего, собственно, и не произошло. Постарел только дом, и всё.

Песочного цвета стены, высокий фронтон, расположенный по центру. Несколько балконов с одинаковыми оградками, массивные окна с запыленными стёклами. Народ питерский перестал мыть окна, посчитав это дело буржуазной отрыжкой... Костюрин вздохнул и вошёл в подъезд. По широкой парадной лестнице с роскошными чугунными перилами поднялся на второй этаж, собственным ключом открыл английский замок на двери квартиры номер семнадцать и очутился в тёмной, пахнущей пылью прихожей.

На тяжёлый стук массивной входной двери сразу из двух комнат выглянули соседи: волосатый, похожий на предводителя большого цыганского табора Кобылкин и жилистая, наряженная в красный марксистский жилет дама неопределённого возраста (знатоки давали ей от семнадцати до семидесяти пяти лет) по фамилии Бремер. Бремерша работала в местной коммунальной организации, следила за тем, чтобы рабочий люд, получающий комнаты в общих квартирах, не калечил жильё и там, где есть мебель, сохранял её.

Костюрин поднял руку, приветствуя соседей:

– Революционный салют труженикам славного Петрограда!

Слесарь готовно распахнул волосатую пасть:

– Наше – вашим!

Бремерша не ответила Костюрину, оценивающе оглядела его с головы до ног, прилепила к нижней вялой губе папироску – курить папиросы стало модным среди женщин, – и с громким хряском захлопнула дверь своей комнаты. Вот тебе и «Наше – вашим!». Слесарь это не расценил никак. Звучно щёлкнул пальцем по кадыку:

– Могу картофельным самогончиком угостить!

Отрицательно мотнув рукой – устал, мол, – Костюрин прошёл к своей двери, на которой висел простенький плоский замочек, какими запирают сундучки, открыл его гвоздём, который специально держал в кармане, – ключ он давным-давно потерял, – и вошёл в комнату.

Здесь, как и в прихожей, пахло пылью. Костюрин стянул с себя, перекинув ремень через голову, командирскую сумку, бросил её на жёсткую железную койку, сшитую каким-то умельцем с Путиловского завода из металлических пластин, посаженных на гайки, расстегнул пряжку португалии, потом – новенький кожаный ремень, один из последних трофеев, взятых им на Гражданской войне: снял с убитого белого офицера на Дальнем Востоке.

После Юденича Костюрин дрался с Колчаком, потом вообще переместился на край краёв земли – на Камчатку, там и встретил конец войны...

Дальше был направлен служить на остров Врангеля.

Люди, слыша об этом, фыркали:

– Фи, Врангель – белый генерал, душитель народный, мироед...

– Не мироед, а мореплаватель, путешественник и вообще большой первооткрыватель, – терпеливо пояснял неотёсанным собеседникам Костюрин.

– Чего же он такого понаоткрывал, раз его советская власть терпит? – щурили глаза несогласные.

– Много чего. Моря, проливы, острова. Новые земли... понятно?

– А первооткрывателя твоего случайно не Петькой звали, а? Как крымского генерала...

А?

– Не бойсь, не Петькой.

– А как?

– Фердинандом.

– Час от часу не легче! Ну смотри, Костюрин, под твою ответственность. Хотя советуем от всей души – фамилию эту употребляй как можно реже.

– Щаз!

Действительно, Врангель Врангелю рознь. Фердинанд – великий человек, присовокупивший к земле русского острова и новые земли. Возглавивший когда-то Колымскую экспедицию и открывший неизведанную каменистую плошку, купающуюся в холодном океане, которую назвал «остров, на котором живут чукчи», а второй Врангель – обычный кровосос. Комар, которому Красная Армия свернула шею. Что же касается первого Врангеля, то лишь через сорок лет заиндевелая, с разбитыми каменными берегами, подмытая солёной океанской водой и замороженная до самых печёнок земля получила его имя. Костюрин хоть и недолго побыл

на ней – год с небольшим довеском, но успел влюбиться в берега, на которых вила гнёзда самая романтическая птица Арктики, она же и самая редкая – розовая чайка.

Некоторые покорители севера всю жизнь ищут розовую чайку, хотят глянуть на неё хотя бы одним глазком, окунуться в редкостный свет, источаемый её оперением, мечутся по снегам и льдам с возгласами надежды, но цели своей не достигают, так и уходят в мир иной, не повидав таинственной птицы. А Костюрин видел розовую чайку, несколько раз видел, и гнёзда её находил...

Он стянул с себя ремень с портупеей и тяжёлой кобурой, в которую был вложен наган, повесил на спинку «путиловской» койки, затем сам повалился на койку – почувствовал усталость. Закрыв глаза и на несколько минут опрокинулся в лёгкий, полный движения и радостных лиц, – в большинстве своём знакомых, – сон.

Очнулся он от того, что в дверь кто-то громко барабанил кулаком. Свесил с койки ноги.

– Входите, не заперто!

В дверь всунулась чёрная волосатая физиономия слесаря Кобылкина.

– Слушай, командир, всё-таки составь мне компанию, а? – Кобылкин знакомо щёлкнул ногтём по горлу. – Не могу один пить, не по-русски это.

– А я не могу пить в служебное время, ты тоже это пойми... Нельзя. Мне сегодня ещё в штабе у начальства надо появиться.

– Тьфу! – отплюнулся Кобылкин и закрыл дверь.

Сон был прерван. Костюрин выругался, качнулся на койке, пробуя хотя бы немного продавить жёсткие пластины, пробормотал привычно:

– Такие койки – только для узников Петропавловской крепости!

Мебели в Питере не хватало. Много хорошей мебели, изготовленной из дорогих пород дерева, пожгли в семнадцатом году, когда боролись с тяжким наследием царского прошлого и буржуйскими пережитками – о-ох, какие роскошные кровати с резными спинками и обтянутыми атласом пружинными низами летели в огонь – сегодня плакать хочется! В результате теперь приходится спать на неудобных железных и деревянных лежаках, уродовать себе кости. Зато никто не бросит слова упрёка, все живут по-пролетарски скромно.

Костюрин поднялся, заправил керосинку «казанской смесью» – особым «авиационным топливом», которое взял у лётчика Йоффе, прикрепленного к пограничному отряду, топливо это было не чем иным, как обычным техническим спиртом, смешанным с большим количеством самогона и небольшим – газolina. Пыхнул этот самодельный бензинчик так, что Йоффе носился на своём старом самолёте, как чёрт, которому здорово наскипидарили задницу.

Для того чтобы керосинка не взорвалась, Костюрин добавлял в горючее соли, отчего керосинка трещала, фыркала, плевалась вспышками огня, будто летательный аппарат военного лета Йоффе. Костюрин потряс керосинку, чтобы соль растворилась в топливе, ощупал пальцами широкий, по краю углублённый до черноты фитиль, проверяя, пропитался он смесью или нет, удовлетворённо кивнул и поставил на керосинку чайник. Самое милое дело в промозглую погоду – стакан горячего чая. У Костюрина дома даже настоящая заварка имелась, несколько щепотей, – не морковная подделка, а подлинный китайский чай, запечатанный в шёлковый мешочек и упрятанный в яркую деревянную шкатулку с клеймом харбинского магазина Чурина. Костюрин этот свой маленький запас очень ценил, хотя сейчас, в пору морковного засилья, был ценен любой чай, не только настоящий китайский...

Забравшись в шёлковый мешочек, Костюрин тремя пальцами отщипнул немного заварки, ссыпал в кружку и, подождав, когда закипит чайник, залил заварку кипятком. Восхищённо потянул носом – дух от кружки потёк божественный, мигом заполнил комнату.

Вот что значит настоящий чай.

Попив чаю, Костюрин озабоченно глянул на часы – поджигает время или нет? В половине пятого вечера ему надлежало быть в штабе, он не соврал соседу – его ждал начальник разведки.

Время ещё было. Костюрин добавил в кружку ещё кипятка, снова затянулся сладким чайным духом. Вторая заварка – не первая, после первой она показалась совсем невкусной. Недаром вторую заварку называют холопской. Хотя есть очень много людей, которые любят именно вторую заварку, считая её мягче, вкуснее, нежнее, лучше первой. Костюрин холопскую заварку не любил, пил только в крайнем случае.

В четыре часа вечера он покинул квартиру.

Начальник разведки у пограничников был человеком новым – прибыл из Москвы, где работал в аппарате самого Дзержинского. Он молча указал Костюрину на стул, а сам, пройдя к стене, раздёрнул шторы, закрывавшие карту, одну в одну сторону, вторую в другую, несколько минут молча всматривался в карту.

Потом вежливо, – сразу было видно московского интеллигента с его неспешной статью и убийственной вежливостью, – попросил Костюрина:

– Подойдите к карте поближе, пожалуйста.

Костюрин поспешно вскочил со стула. Начальник разведки указал ему на небольшой кружок на карте, – кружок располагался на участке границы, охраняемом заставой Костюрина.

– У нас имеются проверенные сведения, пришедшие с сопредельной стороны, что в этом вот месте наши недруги собираются прорезать постоянно действующее окно, – начальник разведки выразительно постучал пальцем по указанному кружку...

– Ну, эту дырку мы очень быстро заделаем, – бодро воскликнул Костюрин, – ни один таракан не прошмыгнёт.

– А вот это как раз и не надо, – мягко проговорил начальник разведки, – пусть дырка эта, как вы её назвали, существует, и действует пусть – только под нашим контролем. – Начальник разведки ещё раз стукнул по кружку и добавил: – Такое решение принято наверху, в Москве.

– И когда же полезут эти... господа хорошие? – любопытствовал Костюрин.

– Не знаю, – по-прежнему спокойно и сухо, не меняя вежливого тона, произнёс начальник разведки, – как только нам станет что-то известно – сообщим. А пока... пока будьте готовы ко всему, товарищ Костюрин. И не теряйте революционной бдительности.

– Есть не терять революционной бдительности, – вытянулся Костюрин.

Начальник разведки махнул рукой, отпуская его.

Улицы вечернего Петрограда были пустынные, таинственные, от них веяло холодом и чем-то ещё – запахом помойки, что ли?

Никогда Питер не пахнул помойкой, но после Гражданской войны начал пахнуть, и не петроградские жители были в этом виноваты, а разный пришлый люд, в большинстве своём грязный: дезертиры, заплевавшие чистые проспекты подсолнуховой шелухой, бандиты, выпущенные новой властью из тюрем, цыгане, разное отребье, жившее раньше на помойках, а сейчас возомнившее себя властителями города и требующее как минимум купеческие палаты... От них и тянет помойным духом. Костюрин поморщился – тьфу!

Впереди неожиданно мелькнула гибкая, плохо видная, почти прозрачная тень, послышалось хриплое мужское рывканье, а затем отчаянный женский крик:

– Помогите!

Костюрин, не раздумывая, кинулся вперёд, на крик, на бегу расстегнул кобуру нагана.

– Помогите!

Крик подстегнул Костюрина, он убыстрил бег.



В темноте начальник заставы разглядел, как двое молодцов в кепках трепали какую-то женщину – судя по всему, нестарую, исправно одетую. Женщина отбивалась от них маленькой кожаной сумочкой. Но что такое безобидная сумка по сравнению с пудовыми кулаками первого налётчика и ножиком, который держал в руке второй громила.

– Помогите!

– А ну, отпустите её! – прокричал на бегу Костюрин. – Немедленно отпустите!

– Хы! – гикнул первый грабитель, и в то же мгновение правая рука его окрасилась оранжевой вспышкой. Громыхнул гулкий выстрел.

Выстрелы на пустынных городских улицах всегда звучат гулко, будто в опорожнённой бочке, у людей, не знакомых с этим, даже коленки трясутся.

– Отпустите немедленно! – вновь прокричал Костюрин, споткнулся о собственный крик. – Иначе буду стрелять!

– Хы! – вторично выбил из горла пробку громила и вновь нажал на спусковую собачку.

Пуля на этот раз прошла совсем близко от Костюрина, он даже ощутил жар, исходящий от неё, пригнулся запоздало, хотел было выстрелить в ответ, но побоялся задеть женщину.

Когда громила вскинул пистолет в третий раз, Костюрин резко метнулся в сторону, присел. Если бы он не сделал этого, пуля снесла бы ему половину головы. Резко поднялся, распрямился, будто пружина, сделал стремительный бросок вперёд и вновь метнулся в сторону, когда услышал предупреждающий хрип налётчика:

– Не подходи!

Нырнул вниз. Налётчик выстрелил в четвёртый раз. И опять мимо. То ли Костюрину везло, то ли у налётчика были кривые глаза. Пуля вновь не зацепила начальника заставы, хотя от стрелка его отделяли уже считанные метры, на таком расстоянии в цель может не попасть только слепая корова.

– Не подходи! – опять раздался крик кривоглазого стрелка. Разъярённый, с плоским размазанным лицом, он и на человека-то не походил, больше смахивал на растерявшего свою колдовскую статью оборотня. – Кому сказал! – Он опять вскинул пистолет, что было силы надавил на железный крючок спуска.

Вместо выстрела раздался противный сухой щелчок. Стрелок дёрнулся испуганно, словно на шею ему накинули верёвку, заорал, едва ли не выворачиваясь наизнанку:

– Режь его, Колян! Режь!

Второй налётчик откинул от себя женщину, та хлестнула его в последний раз сумочкой – налётчик так и не сумел отнять ридикюль, – и отлетела к высокой чугунной ограде, рыжей от густой ржавы, вскинул нож с латунными блестящими усиками и тёмной деревянной ручкой, зажатой в кулаке.

Именно эти мелочи успели засечь острые глаза Костюрина – жёлтые, словно бы специально начищенные усики и чёрную, захватанную грязными пальцами ручку, – ещё Костюрин засёк, что женщина не убежала, прижалась спиной к ограде и так и застыла. Как ни странно, это ободрило Костюрина, хотя он был человеком неробким и на войне повидал всякое и хорошо знал, что рождает внутри у человека зрачок пистолетного дула или острый кончик ножа, нацеленный в грудь, – под мышками у него всё-таки родился холодный пот и заструился вниз по бокам тонкими нитками. Ещё неизвестно, что случилось с пистолетом у громилы... Хорошо, если кончились патроны. А вдруг это обычная осечка и со второго раза патрон сработает? Если патрон перекосило, то громила может с ним легко справиться, выбить его и выстрелить, с другой стороны, Костюрин сейчас может сам стрелять – руки-то у него развязаны...

Он двумя длинными прыжками, будто гнался за нарушителем границы, обогнул налётчика с ножом и что было силы двинул кулаком по лицу громилы с пистолетом. Кулак соскользнул с твёрдого горбатого носа и, вплевшись в губы, размял их. Губы, в отличие от носа, будто

бы вырезанного из кости, оказались слишком дряблыми, неприятно было ощущать, что кулак словно бы в свежую коровью лепёшку всадили, разбрызгал по сторонам вонючие ошмотья.

Громила ойкнул, согнулся, следующим ударом Костюрин выбил у него из руки оружие. Пистолет с грохотом отлетел в сторону, всадили в камень, валявшийся на асфальте, и завертелся обиженным волчком. Налётчик прижал к лицу ладонь с кривыми корявыми пальцами, всхлипнул обиженно. Сквозь пальцы у него потекла кровь.

Костюрин сделал рывок в сторону, к налётчику, выставившему перед собой нож, как штык, сходу махнул ногой, всадил носок сапога в кулак, из которого торчало лезвие, вложив в удар всю ярость, скопившуюся у него, попал по костяшкам пальцев. Громила заорал – такие удары здорово осушают руку, кулак разжался сам по себе, нож с тихим звоном шлёпнулся ему под ноги.

– И-и-и-и, – громила сменил ор на вой, затряс рукой. Костюрин ногой отбил нож подальше от громилы и заломил ему сразу обе руки. Выкрикнул, целя в ухо:

– Ну что, гад?

– Отпусти, командир, – ноющим голосом, не отрывая ладони от окровавленного лица, попросил первый налётчик, – наехало, понимаешь... Больше не будем.

Костюрин развернул налётчика с заломленными назад руками к себе задницей и силой пнул его сапогом в кормовую часть.

– Пшёл отсюда, вонючка!

Налётчик с воем унёсся в темноту. На асфальт шлёпнулась кепка, но налётчик за ней не вернулся. Следом за ним, стеная и плюясь на ходу, отправился бандит с окровавленной физиономией. Костюрин подобрал нож, поднял пистолет и устало спросил у женщины, продолжавшей стоять у ржавой ограды:

– Как, гражданочка, чувствуете себя?

– Более-менее, – ответила та, и тут Костюрин увидел, что её и гражданочкой звать ещё рано, слишком она молода.

Тоненькая, с большими тёмными глазами и нежной, почти прозрачной кожей, она была одета в костюм, который в мире буржуев принято называть деловым – ничего общего с одеждой комсомолок той поры, любивших красные косынки и просторные толстовки, способные скрыть любое уродство, делающие все фигуры одинаковыми: и ущербные и идеально стройные, – наверняка служила в каком-нибудь важном учреждении, может быть, даже в Смольном.

– Эти гопстопники испугали вас?

– Немного... Чуть-чуть, – на бледном лице девушки появилась улыбка.

– Пойдёмте, я вас провожу до дома, – решительно произнёс Костюрин. Девушка сделала протестующее движение, но Костюрин, одёрнув на себе гимнастёрку, взял её под локоть. – Пойдёмте, пойдёмте, я вас одну отпустить не могу. Слишком опасно стало ныне ходить по петроградским улицам...

– Не беспокойтесь, товарищ командир!

– Пойдёмте! Вы же сами будете смотреть на меня, как на распоследнего контрреволюционера, если я вас отпущу одну...

– Почему контрреволюционера, а не, скажем, буржуазного отщепенца, товарищ командир?

– Что в лоб, что по лбу, милая барышня, всё едино. Только приговоры разные.

– О-о, насчёт приговоров – это уже что-то сугубо специфическое, из разряда юриспруденции или чего-то в этом роде, – девушка быстро пришла в себя и намёка на то, что ещё десять минут назад взывала о помощи, уже не было – всё осталось позади.

Хоть и темно было на улице, ни один фонарь не горел – в Петрограде наступил час гопстопа, даже красного комиссара, если у него с собой нет пулемёта, могут раздеть и разуть... Это Костюрин знал хорошо.

С чёрного низкого неба сыпалась холодная пыль – настоящих дождей в Петрограде в том году было мало, а вот водянистая пыль, похожая на холодный пар, сыпалась постоянно, но народ на неё внимания не обращал – питерцы вообще были привычны к влаге и зонтов с собой почти не носили.

Так и эта девушка.

– А вы, я смотрю, выстрелов этого биндюжника совсем не испугались, – одобрительно заметил Костюрин, на ходу засовывая отобранный пистолет в полевую сумку. Нож он определил в другое место – заткнул за голенище сапога.

– Что вы, я страшная трусиха, – смущённо призналась девушка, – просто жуткая.

– Но выстрелов-то не забоялись.

– Это от неожиданности, – девушка потёрлась щекою о плечо, жест был трогательным и доверчивым, и Костюрин, считавший себя суровым человеком, неожиданно размяк, внутри у него возникло что-то тёплое, незнакомое. Начальник заставы даже не понял, что это и что вообще с ним такое может произойти, он ощутил в себе необходимость обязательно защитить этого человека.

– А где вы работаете, если не секрет? Или служите?

– Не секрет. В театре.

Костюрин от неожиданности даже остановился.

– Вы артистка?

– Хотелось бы быть. Но мест свободных в театре нет. Заведую постановочной частью, – и, увидев непонимающее лицо Костюрина, пояснила: – Декорации, театральные костюмы, грим – это всё по моей части.

– Понятно. А в артистки никак нельзя?

– Надеюсь, что в будущем так оно и произойдёт. Очень надеюсь...

– А вы и петь умеете?

– Конечно, умею.

– И на гитаре играете?

Через пять минут Костюрин уже знал, что эту девушку, красивую, словно бы вобравшую в себя всю печаль города, зовут Анной, фамилия её Завьялова, и поёт она, наверное, так, что вселенская щемящая грусть охватывает душу, мешает дышать, рождает слёзы и тепло одновременно. Относилась Аня к тому типу женщин, которые никогда не бывают старыми.

Впрочем, Костюрин не мог похвастать тем, что хорошо знает женщин. Скорее, наоборот.

На углу двух улиц они остановились.

– Тихо как, – сказала Аня, – совсем не верится, что ещё пятнадцать минут назад какой-то небритый дядя в вас стрелял...

– А вас хотел ограбить.

– Да-а...

– Это – Петроград!

Петроград. Характеристика короткая, точная и ёмкая.

Жила Анна недалеко от Костюрина, у тётки, дамы строгой, чопорной и умной. Анна побаивалась её.

– Я вообще побаиваюсь умных людей, – сказала она.

– Почему?

– Потому, что они умнее меня. Я – из той породы, что перед всяким умом испытывает робость.

Костюрин улыбнулся: вот неожиданное признание! Очень искренний и очень открытый человек эта Аня Завьялова, неискренний никогда бы в этом не признался.

У Аниного дома, такого же строгого, возведённого в классическом духе, как и дом, где жил начальник заставы, они остановились. Костюрин спросил с сожалением, которое не смог скрыть, впрочем, он и не очень старался скрыть:

– Мы уже пришли?

– Пришли.

Задрав голову, Костюрин пробежался взглядом по небу, на котором не было ни одного светлого пятна, произнёс озабоченно:

– На заставе будет тяжёлая ночь.

Аня сочувственно наклонила голову:

– Вы – пограничник? Нарушают границу часто?

– Бывает, – неопределённо ответил Костюрин.

– Беляки?

– И они тоже, – тут Костюрин неожиданно замялся, переступил с ноги на ногу и нерешительно проговорил: – Аня! – проговорил и умолк. Лицо у него обузилось, словно бы он собирался идти в атаку, на лбу возникли морщины, губы сделались непослушными. – Аня!

Что-то с Костюриным произошло, а что именно, он и сам не знал. Пока не знал... Наверное, такое иногда бывает с людьми.

– Да! – Аня вопросительно глянула на Костюрина.

– Давайте как-нибудь встретимся ещё, – наконец, решился Костюрин, одолел препятствие, возникшее в нём.

– Давайте, – не стала жеманиться Аня, – приходите к нам в театр... Или ещё лучше – у нас в квартире стоит телефон. Запишите номер и позвоните. Мы договоримся.

Костюрин готовно, будто мальчишка, закивал головой, достал из сумки блокнот и карандаш... Сдержат предательской улыбки он не смог – это была, если хотите, победа, его личная победа над самим собой. И как только люди относятся к прекрасным мира сего без внутреннего трепета и робости, Костюрин не знал. Он так не умел...

## Глава вторая

Советская власть молодому питерскому учёному Владимиру Таганцеву не нравилась. Не нравились матросы, умеющие лихо цыкать сквозь зубы; не нравились бывшие проститутки, нацепившие на головы красные косынки, нарядившиеся в кожанки и объявившие себя комиссаршами – шлёпнет такая иного столичного интеллигента и не поморщится; не нравился Ленин с его жёсткой картавинкой, – больше нравился Троцкий, желчный, как перец, второй после Ленина человек в России, с пронзительными, будто у ястреба, глазами, очень цепкий; не нравился беспорядок на петроградских улицах – много грязи, много нищих, много ободранных, в лаптях и заплатах крестьян, которые надеются зашибить в городе немного денег и увезти их в деревню, чтобы подпитать своих детей, но не у всех это получается. Крестьяне приезжают сюда и уезжают толпами, грязи после них остаются горы – не свернуть... Много чего не нравилось Таганцеву в новой власти и в новых порядках.

Он решил бороться. Бороться можно, конечно, по-разному. Можно взять пару браунингов и явиться на какую-нибудь современную маёвку, на которой будет выступать Ильич, и пальнуть в него – это один метод; можно хорошо поработать и стать важным большевистским функционером, например, наркомом, – и там уже, находясь наверху, основательно поработать лопатой, попытаться в горных высях закопать советскую власть – это второй способ; сделать то же самое в армейских рядах – третий способ; можно пойти по усложнённому, самому медленному пути – создать свою организацию, вовлечь в неё побольше народа, от домохозяек и библиотекарей до краскомов и заводских инженеров, и раскатать советскую власть – это четвёртый путь... И так далее.

Вот именно четвёртый путь, последний из перечисленного, и казался Таганцеву наиболее перспективным. Разработкой его он и занялся: начал потихоньку сколачивать группу, которую заранее назвал, – группы ещё не было, – довольно лихо, ему даже самому понравилось: «Петроградская боевая организация».

Отец у молодого Таганцева был известен на весь Петроград, если не более – на всю Россию: старший Таганцев был самым крупным в стране специалистом по международному праву, к нему приезжали консультироваться даже из Владивостока. Более того, старший Таганцев когда-то принимал экзамены у самого Ленина.

Молодой Таганцев хотел на всякий случай посоветоваться с отцом, но потом раздумал – вдруг папая с ним не согласится, вспомнит бледного, с рыжей вялой бородкой студента, спешившего жить и поскорее сдать все экзамены, и заявит, что бредовая идея зажечь мировой революционный пожар и основательно раскочегарить его есть не самая достойная в жизни цель, и тогда сыну будет очень трудно отработать задний ход – ведь против отца выступать тяжело. Повертелся, повертелся молодой Таганцев, терзаемый разными сомнениями, и захлопнул рот на замок, ничего не сказал отцу.

Может быть, и напрасно – потом молодой Таганцев жалел об этом. А пока что было, то было.

Профессия у Таганцева была хорошая, нужная при всяком строе – и при царе, и при анархистах, и при социалистах с кадетами, и при Советах с разными примкнувшими к ним партиями, – геолог, но поскольку геологией пока никто не занимался, не до того было, Таганцев пошёл служить в контору, занятую поисками топлива, в частности, разработками того, как из птичьего помёта делать бензин, из водорослей спички, из коровьих рогов обода для колёс, из дерева сахар, а из болотной воды масло для паровозов.

Вонючая болотная вода и оказалась самой пригодной для воплощения новых сногшибательных идей, революционных, можно сказать: именно болота были богаты залежами горючего материала сапропеля – так учёные коллеги Таганцева называли обычный торф, более того, они

создали целый комитет, который выпендренно называли Сапропелевым. Впрочем, комитет занимался не столько наукой о торфе, сколько самим торфом – где его взять и взять как можно больше. И все исходящие из этого обстоятельства просчитать. Главное из них – как ловчее, быстрее и дешевле доставлять горячий торф в Москву, в Питер, в другие крупные города России.

Именно над этим и приходилось ломать голову Владимиру Николаевичу Таганцеву, это был его участок временного, но верного служения большевикам.

Идея создать мощную подпольную организацию, которая могла бы свернуть голову красной власти, была не нова – до «Петроградской боевой организации» в городе действовал «Национальный центр». Задачи у центра были такие же, что и у «Петроградской боевой организации», и флаг того же цвета, и программа из того же набора слов – всё было то же. Руководили центром люди неглупые, сумели наладить связь с Гельсингфорсом и Парижем, своих ходяков смогли заслать даже в Лондон – попросить там, чтобы центру позолотили ручку и помогли деньгами, материалами, стволами, в конце концов, но какое-то колёсико в налаженной работе сломалось – хлоп и не стало его, а через некоторое время к руководителю центра явились люди с суровыми лицами, в кожаных тужурках:

– Собирайтесь, гражданин! Хватит отплясывать радостного гопака на поминках революции.

Следом были арестованы ещё несколько человек. Младший Таганцев входил в эту организацию, вернее числился в её списках, но ничего серьёзного сделать не успел, пробовал скрываться и успешно делал это, но когда вернулся в Петроград, люди в кожаных тужурках подхватили под микитки и сунули в автомобиль, окрашенный в тусклый серый цвет.

Руки у тужурок были цепкие – не вырваться.

Хорошо, что об аресте сына очень быстро узнал отец, надавил на все рычаги и педали, пустил в ход все свои связи, сходил в гости к Горькому, с которым был хорошо знаком, и через пару недель бледный, трясущийся, очень испуганный сын вернулся домой.

Испуг вскоре прошёл, младший Таганцев обрёл нормальный цвет лица, руки у него перестали трястись, появился аппетит, мозги начали работать немного лучше – в чека их не отбили, и Владимир Николаевич решил создать свою организацию, более серьёзную, чем «Национальный центр», во всяком случае такую, чтобы её не смог раскрыть первый попавшийся дворник или сборщик костей, поставляющий свой товар на пуговичную фабрику и в артель по изготовлению мыла и клея одновременно. Главное – вопрос конспирации, чтобы никто ни гу-гу, чтобы все секреты находились в шляпе и не выпадали из неё вместе с волосами.

После этого и возникла «Петроградская боевая организация». В первую очередь Таганцев-младший включил в неё своих друзей-геологов, потом кое-кого ещё из мира науки, затем военных, и пошло, и поехало... Дело «дошло и доехало» до того, что в организацию вступило несколько монархически настроенных домохозяек, следом – пара человек, совмещающих должность дворника с постом «ночного директора», как в ту пору величали сторожей, ночующих в конторах на директорских столах, далее – все, кто хотел.

Главное в их деле – секретность, считал Таганцев, всё надо вершить так, чтобы даже кусачие петроградские комары ничего не знали, не говоря уже о мухах и прочих летающих и ползающих существах. В том числе и те, кто носит потрескавшиеся кожаные тужурки. Победа в конце концов придёт обязательно – советская власть задерёт лытки вверх.

А пока Таганцев жил раздвоенной жизнью – ходил на работу в Сапропелевый комитет, служил большевикам, поставлял на столы комиссарам нужные бумаги, выкладывал свои сообщения по части добычи торфа – это было днём, а вечером встречался с военными, колдовал над картами, думал, как бы половчее спихнуть бывшего отцовского студента с кресла, которое тот занимал, из Смольного прогнать петроградских комиссаров и развернуть государство в другую сторону, поставить на новые рельсы – хватит паровозу загонять вагоны в тупик.

Таганцев-младший нашёл тропку, ведущую в Великое княжество Финляндское, ставшее самостоятельным государством, с помощью двух бывших офицеров, ныне считающихся красными командирами, прорезая дверцу в пограничной полосе, – создал так называемое окно и удовлетворённо потёр руки: теперь закордонная помощь польётся в Петроград рекой – и деньги у них будут, и оружие, и даже золото, если оно, конечно, прибьётся сюда. Зарубежные центры ничего не пожалеют для того, чтобы здесь, в Советской России, запольхал пожар.

Об этом самом окне и предупредил Костюрина начальник разведки – об окне стало известно гораздо раньше, чем в прорезанной дырке появился первый посланец.

Посланец проник в Питер без всяких приключений, всё прошло на удивление гладко, так гладко, что Шведов, – а первый бросок через окно в Совдепию совершил он, – даже не поверил этому: неужели ничего не произойдёт по дороге и даже не удастся пострелять?

Нет, ничего не произошло. Шведов, который уже полтора года не был в Петрограде, изумлённо оглядывался, всматривался в лица встречаемых людей и совал руку под полу пиджака, где у него был спрятан маузер. В любое мгновение он готов был выдернуть оружие и открыть стрельбу.

Но стрелять не пришлось. На питерских улицах Шведова также никто не остановил. Хотя и обладал посланец белого зарубежья острым зором, хоть и хвастал иногда, что может различить пулю в полёте, а не засёк неотступно двигавшегося за ним невзрачного человека в кепке-восьмиклинке, тогда входившей в моду в рабочем Петрограде, небрежно помахивавшего прутиком – шлёпал тот человек себя по штанине и засекал всё, на чём останавливал свой взгляд Шведов.

С трамваем Шведов связываться не стал, он рассчитывал только на «свои двою», обутые в крепкие, сшитые из яловой кожи сапоги: прошёл одну улицу, вторую, влился в плотный людской поток, запрудивший третью улицу, свернул на улицу четвёртую – он шёл к профессору Таганцеву.

На четвёртой улице, тесно застроенной длинными, облупившимися за годы Гражданской войны домами, из подворотни – какой именно, Шведов даже не засёк, – вылезла невысокая черноглазая девчушка, похожая на знойную евреечку, окликнула негромко:

– Дядечка!

Шведов стремительно сунул руку под полу пиджака.

– Хлеб есть?

Сощурившись недобро, Шведов произнёс наставительным тоном:

– Хлеб надо заработать.

– Я не бесплатно, дядечка, – воскликнула евреечка и ловким движением подняла платье. Под платьем ничего не было – ни рубашки-комбинашки, ни трусиков, голенький лобок был покрыт едва приметным чёрным пушком.

Шведов брезгливо сморщился.

– Сколько тебе лет?

– Это неважно, – высокомерно произнесла девчушка.

– Довели страну большевики, – Шведов сплюнул под ноги и потопал дальше. Исходила от него некая сила, которая одних притягивала к нему, других отталкивала, жёсткое плоское лицо его часто меняло выражение.

– Дядечка! – послышалось у него за спиной.

Шведов поморщился недобро, обернулся: за ним, неслышно ступая по асфальту ногами, обутыми в самодельные тапки, сшитые из брезента, увязалась евреечка.

– Ступай отсюда! – грозным приказным тоном произнёс Шведов. – Ну!

– Я недорого возьму, дядечка, – умоляющим голосом проговорила евреечка...

– Сказал тебе – ступай отсюда! – Шведов увидел, что у железной ограды, которой был обнесён крайний дом, обломился один прут, ухватил его поудобнее и через мгновение выломал с корнем – сила у Шведова имелась, недаром он по утрам баловался двухпудовыми гирями, – сжав зубы, он завязал прут в восьмёрку и бросил под ноги онемевшей евреечке. – Не ходи за мной!

Девчушка остановилась, всхлипнула, а затем презрительно бросила ему вслед:

– Дурак!

Через полчаса Шведов оказался у дома, в котором жил руководитель «Петроградской боевой организации», остановился у среднего подъезда, внимательно огляделся, стараясь не пропустить мимо своего взгляда ни одной детали. Засёк двух старух, вынесших из дома скамейку и усевшихся на неё с двумя поллитровыми банками семечек, – лутили они подсолнуховые семена с такой скоростью, что плотные струи шелухи непрерывно летели в обе стороны – работали старухи, как машины; следом остановил взгляд на цыганке, гадавшей по ладони какому-то работяге, похожему на угрюмого чёрного коня; потом – на стае беспризорников, подбивавших ногами зоску – свинцовый пятак с прикреплённым к нему куском собачьей шкурки, это было сделано, чтобы зоска лучше летала и была управляема; двух подвыпивших мужиков с газетными кулками на плешистых головах – видать, ремонтировали дядьки чью-то квартиру, кульки на бестолковках не держались, постоянно съезжали набок – он ничего не пропустил, опытный человек Вячеслав Григорьевич Шведов, и ничего опасного для себя не засёк.

Стоять, светиться на улице не было никакого резона – те же старухи, любительницы подсолнуховых семян, могут запросто сдать его, и Шведов, в последний раз окинув оценивающим взглядом улицу, неспешно вошёл в подъезд.

Хвоста не было – он был в этом уверен. В подъезде постоял с полминуты, прижавшись спиной к холодной батарее – привыкал к полумраку, чутко слушал пространство; а вдруг наверху тоже кто-нибудь стоит, дышит нервно, прогоняя затхлый здешний воздух через две сопелки, Шведов обязательно его засечёт и уйдёт, даже не заглядывая в квартиру к новоявленному петроградскому подпольщику, но ничего подозрительного не заметил. Подъезд как подъезд, только очень сильно пахнет мышами – видать, на чердаке лежит слишком много книг, вот мыши и употребляют их потихоньку на завтраки и обеды. Не обнаружив ничего опасного, Шведов поднялся по лестнице наверх, к квартире, где жил профессор Таганцев.

Шаг его был твёрдым и одновременно бесшумным, в армии ходить так умеют, наверное, только пластуны: особая категория людей, которая и в разведке преуспевала, и города малым числом брала, и войны выигрывала – прообраз нынешнего спецназа.

У дверей квартиры Шведов также остановился, послушал: что там внутри, в самой квартире?

Тихо. Шведов решительно протянул руку к бронзовой бобышке звонка, с силой крутанул её. Потом крутанул ещё два раза, послабее, много слабее, таков был условный сигнал: один длинный звонок и два коротких.

За дверью скрежетнул ключ, и на пороге возник невысокий, начавший полнеть человек с приятным улыбчивым лицом, плотными, хорошо выбритыми щеками и прищуренным, будто он заглядывал в орудийный ствол, взглядом.

– Отец просил передать вам, что он на два дня уезжает в Москву, – неторопливо проговорил Шведов. Это был пароль для связи, так было обговорено, Таганцев сам придумал этот пароль. Отзыв: «Спасибо, я об этом уже знаю», его Шведов также запомнил хорошо, из головы ножом не выскребешь.

– Спасибо, я об этом уже знаю, – с облегчением произнёс хозяин квартиры, посторонился, пропуская гостя в прихожую.



В доме было тепло, в прихожей стояли две переносные деревянные вешалки с круто изогнутыми рожками, похожими на ветки диковинного дерева. Шведов повесил на один из рожков свою фуражку.

– Прошу вас! – по-птичьи вздёрнув голову, пригласил Таганцев, рукою показал на проход, ведущий в кухню.

Шведов молча склонил голову и, сосредоточенный, прямой, неожиданно переставший излучать силу – он вновь погрузился в себя, и это Таганцев тоже почувствовал, – первым проследовал в кухню, сел на старый венский стул, стоявший у круглого деревянного стола с поблеклым и кое-где уже облезшим лаком. Стол был накрыт чистой льняной скатертью. Впрочем, неказистая скатерть эта была мала, Таганцев невольно поморщился: вечно Маша эта на всём экономит – гостей принимать неудобно, но в следующую минуту одёрнул себя.

– Извините! – пробормотал он неловко, как-то боком придвинулся к печушке, распахнул тяжёлую, отлитую из чугуна дверцу. – Эта машина такая: не подтопишь – не согреешься, – кинул в слабо горевшее нутро ещё два тёмных брикета.

– Наземным топливом топить печку?

– Сапропелем, прессованным илом.

– Сапропель, сапропель. Хорошее слово для пароля.

– Можно использовать.

– Придёт время, – Шведов улыбнулся, едва приметно раздвинув тонкие, твёрдые и невероятно сухие губы. Таганцеву захотелось как можно скорее предложить гостю чая.

– Собственно, ради этого мы с вами и встретились, – чистым и звучным голосом проговорил Таганцев и невольно покосился на дверь: а не слышит ли их кто? Квартира была пуста.

Гость в ответ ничего не произнёс, легко побарабанил пальцами по столу, произнёс задумчиво, словно бы для самого себя:

– Сапропель! Наверное, Владимир Николаевич, горит он, но всё-таки не греет.

– Хоть горит-то. Один вид пламени уже приносит тепло. Если руки не греет, то душу-то уж точно не отапливает.

– Это, Владимир Николаевич, из области философии, из высоких материй, а я земной человек, даже больше, чем земной – грешный, уязвимый, подверженный порче, – мне больше то подходит, что греет руки. Душа – дело второе.

– Считайте, что в этом вопросе мы с вами расходимся.

– Благодарю вас, – Шведов наклонил голову. Таганцев подумал, что Шведов, как военный человек, обязательно должен относиться к нему, невоенному, а значит, чужому, слабому, свысока, и это вызвало у него ноющее чувство, виски начало щипать, он приготовился в ответ на резкость сказать что-нибудь резкое, но Шведов произнёс примиряющее: – Если с вами пойдём в одной упряжке, у нас не будет, – он споткнулся, подумал немного, поправился, – у нас не должно быть разногласий ни в одном из вопросов, Владимир Николаевич!

– Я этого тоже хочу.

Что-то не складывался у них разговор. Таганцев не мог даже точно определить, в чём дело – то ли сбивала шведовская обособленность, его колючесть и высокомерие, то ли он сам не мог до конца довериться гостю, срабатывали внутренние тормоза.

Но останавливаться на полпути было нельзя.

– Простите, Владимир Николаевич, за незнание и серость, но что за должность большевики определили вам в Сапропелевом кабинете? Он за Академией наук числится?

– Совершенно верно. Должность звучная – учёный секретарь.

– Действительно пышно звучит. Люди, которые придумывают подобные титулы для разных мелких контор, относятся к двум противоположным категориям: либо они очень сильные, либо очень слабые.

– Большевиков слабыми назвать нельзя.

– Но и сильными тоже.

– Лучше преувеличивать мощь врага, чем преуменьшать, в результате неожиданностей меньше бывает, – в голосе Таганцева появились упрямые нотки.

Шведов склонил голову набок, в маленьких глубоких глазах его возникло жёсткое выражение. Этот человек не любил, когда с ним спорили, и Таганцев, опережая его, произнёс громко, тоном, не терпящим возражений:

– «Сапропель» – плохой пароль. Только для провала. Начало ниточки, за которую можно сдёрнуть с крыши ласточкино гнездо.

– Ласточки выют гнёзда не над крышами, а под крышами.

– От «над» до «под» вообще-то большое расстояние, но в данном случае разница столь невелика, что её надо в лупу рассматривать.

– Странно, – неожиданно задумчиво произнёс Шведов, – мы с вами встретились, чтобы стать друзьями и единомышленниками, а разговариваем... – он махнул рукой. – И говорим-то ни о чём!

– Вы правы, – Таганцев понизил голос, – но лучше уж сразу обозначить все ориентиры, чем заниматься этим потом. Так в стрельбе можно промахнуться. – Помолчав немного и словно бы вспомнив о чём-то, досадливо поджал губы, на лицо его напоздали морщины, он постарел. Надоели уколы, пикировка, расспрашивание, ирония над должностью «учёный секретарь», а он действительно учёный секретарь, и действительно учёный, самый настоящий. Не ровен час наступит пора, когда он будет избран президентом Академии наук. Он поставил чайник на «буржуйку». Брикеты ила в печушке разгорелись, пламя подало голос – пройдёт несколько минут, и «буржуйка» раскалится. Произнёс примирительно:

– Не будем об этом, не будем. Вы хорошо знакомы с Юлием Петровичем Германом?

– Да.

– Значит, нет необходимости характеризовать вам штабс-капитана?

– Бывшего штабс-капитана.

– Придёт время – всё вернётся на круги своя, – Таганцев подкинул в печушку ещё пару брикетов сухого ила. – И вы, конечно, знакомы с событиями, происшедшими с «Национальным центром»?

– Печальные события. Знаком и с ними.

– Меня тоже пытались под них подписать, но слава Богу, нашлись хорошие люди. Заступились. Но всё равно я предпочёл на время исчезнуть. Жил в Москве, менял квартиры, чувствовал кожей чекистов, да не дано им было... Если бы не заручительство Горького – обязательно бы взяли.

– Горького? – Шведов удивлённо приподнял брови, и Таганцев увидел, какого цвета у него глаза – тёмного, осеннего, когда идёт дождь и кругом хмарь, нет силы, чтобы разогнать темень облаков и неба, – ни ветер этого не может сделать, ни люди, – а в глубине зрачков колебалось, помигивало маленькое неяркое пламя. Увидев это пламя, Таганцев подумал: злое оно, может больно обжечь. – На что вам сдался большевистский писатель?

– Знаете, Вячеслав Григорьевич, любые способы защиты хороши. Если б не Горький, лежать бы мне сейчас с пулей в черепе среди таких же интеллигентов, как я, как вы – ничто не уберегло бы. Хорошо, что и я сам, и отец сумели доказать Горькому мою непричастность к «Национальному центру».

– А вы были здорово причастны? – злой пламенёк в шведовских глазах погас, брови выдвинулись вперёд, защитили взгляд, спрятали его в своей темени.

– Какая разница, Вячеслав Григорьевич, был или не был? Главное, что сумели доказать – не был причастен. Хотя на самом деле я был причастен... Но спасибо пролетарскому писателю!

– Раз уж речь зашла о «Национальном центре», с целями и задачами «Национального центра» вы были хорошо знакомы?

– Более чем.  
– Разделяете их?  
– Целиком и полностью!  
– У «Петроградской боевой организации» есть своя программа?  
– Без программы мы и шага не делаем. Есть программа. Составлена, обсуждена, поправлена и утверждена на заседании руководящего комитета нашей организации.  
– Какова главная ваша цель?  
– Свержение советской власти. Других целей нет.  
– Эт-то хорошо, – удовлетворённо произнёс Шведов, потёр руки, потом подсел к печке, взял из эмалированного таза несколько тёмных, в остях, шелушащихся брикетов торфа и кинул в печку. Голыми пальцами, не боясь обжечься, взялся за головку дверцы, прикрыл пламя. – В этом состоит и наша главная цель. Общая цель – и ваша, и наша. А «Национальный центр» мне очень жаль, толковая была организация, хорошо начала дело, неплохо работала, жаль, что недолго, – да не повезло ей...

Для молодого Таганцева сообщение о разгроме «Национального центра» было сродни удару тяжёлым предметом по голове, он ничего и сообразить не успел, хотя и ездил в Москву, и переживал трудное время там, как оказался арестованным сам, даже впал в некий ступор, а когда пришёл в себя, когда его освободили, решил, что действовать надо крайне осторожно, а от суровых лиц и кожаных тужурок – спастись, бежать, как заяц бежит от охотника. И вообще...

Таганцев вспомнил пору, когда были арестованы члены «Национального центра», как самое худшее время в своей жизни – не только небо, даже солнце над головой было чёрным. Ночью, когда в звучной темени ярко и дорого сверкали звёзды, переливались занятно, таинственно, он не видел звёзд, не слышал выстрелов, если они звучали рядом – а ночи и в Петербурге, и в Москве были лихие, выстрелы раздавались часто, были слышны крики и хрип людей, неясные личности громыхали ногами по крышам, забирались в чужие дома, грабили, убивали, а когда их накрывали, отстреливались люто, до последнего патрона.

Главное для Таганцева было заручиться поддержкой, затеряться и выжить. Выжить, только выжить – этому была подчинена каждая клетка тела, каждый нерв Таганцева. В Москве он более двух дней не проводил в одной и той же квартире, боялся, что чекисты нагрянут, и уходил. Несколько раз появлялся у Горького, тот, отзывчивый, добрый, привыкший помогать, непременно принимал его, оглаживая рукой густые, с рыжеватой искрой усы, выслушивал, устало щурил глаза, думал о чём-то своём, как казалось Таганцеву, далёком, и Таганцев понимал – не верит ему Горький, не имеет права верить, и Таганцев, частя и путаясь в словах, прикладывал руку к груди, убеждал писателя в том, что он верен советской власти, честно служил в Сапропелевском комитете, знаком со многими комиссарами, но так уж случилось, что его ни с того ни с сего пристегнули к вреднейшему «Национальному центру», к которому он не имеет никакого отношения. Есть, конечно, у него там несколько знакомых, но что это значит? В таком разе нужно хватать каждого третьего. А то и второго.

Он не знал, серьёзно вмешивался Горький в его судьбу или нет – просто в один момент почувствовал, что тяжесть, придавливавшая его к земле, ослабла. Таганцеву сделалось легче дышать, позже эта тяжесть вообще исчезла, и Таганцев вернулся в Петроград.

Первое время он вёл себя тихо, ходил с оглядкой, проверяя, а не пасёт ли кто его? Долгое время казалось, что его пасут, и он невольно сжимался, ему хотелось нырнуть куда-нибудь в земную глубь, раствориться в темноте, сделаться невидимым и неслышимым – состояние, как он понимал, привычное для человека, которого преследуют. Потом и это прошло. Человек забывчив. Исчезает не только память на события и имена – эта память слабая, исчезает память опасности, заложенная в памяти, в руках, в мышцах головы и ног, исчезает почти всё. Такое

случилось и с Таганцевым. Он забыл, что происходило с ним, ожил, стал ощущать себя прежним Таганцевым – уверенным, свободным, убеждённым в том, что с ним ничего не случится.

Работы было много. Требовалось сочинить программу организации, хотя её надо было только зафиксировать на бумаге, это чисто механическая работа – программа ясна, словно божий день, цель, как и программа, одна, никаких других побочных целей, мельчания нет. Надо было добывать деньги, материалы, оружие и, главное, найти нужных людей. Единомышленников. А ещё больше, ещё нужнее – прорубить «окно в Европу», к своим.

Он и прорубил... В результате здесь находится Шведов – судя по вопросам, которые задаёт гость, – с инспекторскими функциями. Таганцев изучающе глянул на Шведова. Это был человек, которого всё время требовалось изучать, он постоянно менялся, был то добрым, то злым, то собранным, очень внимательным, не пропускающим ни единой мелочи, то неожиданно становился рассеянным, смотрящим сквозь своего собеседника, и тогда Таганцев, считавший себя неплохим психологом, терялся – он не понимал своего гостя.

А гость рассеянным не был ни одной минуты, ни одной секунды – это была всего лишь маска, очень удобная для изучения собеседника: накроешься ею, как некой шляпой или накомарником, опустишь сетку, и всё – ты уже неуязвим.

Глядя на Таганцева, Шведов тоже терялся, не мог сделать однозначного вывода – он не понимал некоторых вещей... Таганцев был человеком неоднородным – сильным и одновременно слабым, умным и в ту же пору очень далёким от умных решений, осторожным и легко теряющим это качество... Пройти бы молодому профессору Таганцеву школу конспирации – цены бы не было ему.

Шведов мог, конечно, поставить Таганцеву жёсткую оценку – от этой оценки зависело, будет ли помогать Запад и, в частности, руководители эмиграции Таганцеву и «Петроградской боевой организации» (как помогали, к слову, «Национальному центру»).

Таганцев это, кажется, понимал. Так, во всяком случае, мнилось Шведову.

– А ваша жена где? – неожиданно спросил он. – Надежда Феликсовна где?

– О, вам даже известно имя и отчество моей жены?

– А как вы думали, Владимир Николаевич?

Таганцев с улыбкой помял пальцы, подул на них. Лицо его потеплело, глаза обрели мягкое выражение.

– Её нет, она вместе с сыном уехала под Питер, к родичам. У сына не всё в порядке со здоровьем, петроградский климат – не самый лучший для детей, поэтому жена с сыном временно переселились в деревню.

– Ну что ж, всё ясно, – Шведов так же, как и Таганцев, с костяным щёлканьем помял себе пальцы. – Всё ясно. – Оглядел убранство кухни, словно бы хотел запомнить обстановку, приблизился к окну, тёмному с изнанки, с внешней стороны, и светлому, чистому изнутри. Работница Маша в семье Таганцевых зря хлеб не ела. Посмотрел вниз, в зеленоватую темень пространства: что там, на улице? Спросил тихо, едва слышно:

– А где же Маша?

Улица была пустынна, по тусклым гладким камням неспешно волоклись хвосты пыли, смешанной со снегом, закручивались в толстые жгуты, украшались раструбами и устремлялись вверх – верный признак того, что ветер скоро усилится.

Ни одного человека на улице уже не было – ни бабок, с их банками, набитыми подсолнуховыми семечками, ни цыганки, ни беспризорников, – совсем как в вымершем городе... Вообще ничего живого не было.

– Маша? Машу я сегодня отпустил домой.

– Правильно поступили. Лишние свидетели в нашем деле ни к чему.

Шведов ещё раз осмотрел пустынную улицу и невольно поёжился: иногда ему, боевому офицеру, подполковнику-артиллеристу, прошедшему фронт, повидавшему, кажется, всё на

этом свете, – а видел он такое, что не только на этом свете, на том, пожалуй, не увидишь, – делалось страшно... Для него, считавшегося человеком бесстрашным, это было в новинку.

Сделалось ему не по себе и в этот раз, будто на холодной мостовой, которую он рассматривал в окно, его поджидала смерть.

## Глава третья

Шведов, пока находился в Петрограде, постарался навести справки о некоторых членах ПБО, как он у себя в записной книжке обозначил «Петроградскую боевую организацию», и прежде всего о самом профессоре, возглавившем её.

Владимир Николаевич Таганцев был учёным молодым, даже, пожалуй, очень молодым для профессорского звания – тридцать с небольшим лет, профессором, наверное, стал благодаря связям своего именитого отца, академика, гражданского генерала. Старший Таганцев имел титул действительного тайного советника и ещё несколько других титулов никак не ниже генеральского, – при царе был сенатором, членом Государственного совета, председателем Комиссии по тюремному преобразованию, – в общем, если всё изложить пером, то никакой бумаги на это не хватит...

Казалось бы, и сын должен был пойти по стопам отца, а не – после окончания гимназии имени К. Мея (как подозревал Шведов, это был тот самый великий ботаник Карл Мей, который предложил считать температуру таяния льда нулевой температурой, но слава вся досталась не Мею, а Цельсию) младший Таганцев увлёкся биологией, самостоятельно, без протекции отца поступил в Петербургский университет, где у старшего Таганцева был неоспоримый авторитет, при упоминании его имени коленки начинали дрожать не только у студентов, но и у многоопытных доцентов и даже у профессоров. Поосмотревшись в университетских коридорах, нашёл очень привлекательную для него кафедру географии. Более того, стал при ней младшим лаборантом.

Шведов по скудности сведений полагал, что молодой профессор Таганцев никогда не нюхал пороха, но это оказалось не так – нюхал, очень даже нюхал: с отрядом Красного Креста Владимир Таганцев не раз бывал на передовой, в окопах, там спасал раненых, вывозил их в Петроград, в Псков, в Нижний Новгород, случалось, и сам брался за винтовку, стрелял.

Когда вернулся в Петроград окончательно, то не узнал ни города, ни университета – ну будто бы с тяжёлого похмелья очутился в незнакомом месте, хоть пузырь со льдом прикладывая к лысеющему темени: от интеллигентного дворянского Питера осталось только воспоминание, тень, отзвук, ещё что-то незначительное и не более того: то ли война была в этом виновата, то ли революция, то ли землетрясение произошло – не понять, вполне возможно, виноват был и надвигающийся голод.

Через некоторое время Таганцев становится преподавателем кафедры географии, курс он читает умело, интересно и попадает под поспешную раздачу «пирожков». Наркомат просвещения нового государства, борясь со «старыми пережитками и тяжким наследием царского прошлого», решил упразднить учёные звания и степени, существовавшие раньше, и ввести единое «пролетарское» звание – профессор: если ты, товарищ, читаешь в университете самостоятельный курс, то имеешь полное право называться профессором.

Так что старший Таганцев не был к этому причастен никоим образом: сын его сам достиг этого, от советской власти получил подарок и стал профессором. Шведову оставалось только чесать себе затылок. Но «революционной скороспелкой», как выяснил закордонный гость, Таганцева в университете не считали – курс свой новоиспечённый профессор читал очень серьёзно и у студентов пользовался популярностью.

Поскольку Петроград замерзал, а топить печки-буржуйки, ставшие не столь модными, сколь необходимыми, было нечем – тепла требовали даже полумёртвые старухи, – был создан так называемый Сапропелевый комитет – организация на четверть научная, на четверть хозяйственная, на четверть партийная и ещё на четверть бог знает какая. Таганцев-младший введён в его состав, где вплотную занялся изучением торфа, палочки-выручалочки времён Гражданской войны. Тепла торф давал мало, но в печках дымил исправно; Таганцев стал часто выез-

жать, между лекциями, в командировки: то в Вышний Волочёк, то в Вологду, то под Тверь, то ещё куда-нибудь...

Это было на руку «Петроградской боевой организации» – отделения ПБО не помешало бы иметь на периферии, в глухих медвежьих углях...

Шведов, загораюсь, даже потёр руки – перспектива открывалась великолепная, – сделал это с удовольствием, а потом понюхал ладони: не пахнут ли порохом? В эту минуту он не был похож на всем знакомого Шведова – горячий, порывистый, раскрепощённый, будто молодой необузданный мюрид из горского селения, способный совершить необдуманный поступок.

Хотя Таганцев и не произвёл на Шведова яркого впечатления и у бывшего подполковника имелись кое-какие колебания, сомнения всё-таки понемногу отсеивались, и Шведов всё больше и больше приходил к мысли, что Таганцев и его организация – то самое, что необходимо для свержения новой власти.

Погода тем временем сильно изменилась. С юга приползло тепло, много тепла, небо сделалось грязным, проломилось в нескольких местах, на землю пролился дождь. Стало понятно окончательно, что весна победила... Если раньше погода была разноликой, то тёплой, то холодной, например, день, когда Костюрин приехал с заставы в город, был по-летнему тёплым, Костюрин даже в гимнастёрке ходил, да и девушка, которую он спас от гопстопников, была в костюме, а не в пальто, через сутки всё изменилось – повалил снег и запахло зимой.

Сейчас же стало ясно без всяких оглядок назад: весна пришла и вряд ли уже уйдёт.

С Балтики, с Маркизовой лужи, как в Петрограде издавна привыкли величать Финский залив – слишком уж он мелкий, местами зацветает, будто обычный деревенский пруд, от преющих водорослей распространяется гнилой запах, – потянуло ветром, грязь с улиц смыло, мостовые вымыло дождём.

В Финляндию собралась уйти группа офицеров – в Советской России им нечего было делать, – руководимая товарищем Шведова по фронту капитаном Введенским, бывшим командиром пехотного батальона, и Шведов решил отправить с ним письмо со своими соображениями по поводу «Петроградской боевой организации». Сам он решил ещё на две недели задержаться в городе.

– Помощь в переходе через границу нужна? – спросил он у Введенского.

Тот, с красивым умным лицом и жёсткими, плотно сжатыми губами, отрицательно качнул головой:

– Нет. Дорожка проложена надёжная. Туда-сюда ходили уже несколько раз.

– Смотри, Георгий Георгиевич... У нас тоже есть возможность... И окно безотказное, и проводники имеются хорошие.

– Спасибо, не нужно.

Если днём тепло разлагало город, на глазах высушивало лужи, земля разваливалась, будто парная, выдавливая из себя мокреть и солнце не могло справиться сразу со всем хозяйством, то ночью с севера приносился стылый ветер, и тогда земля просыхала окончательно – ни одной слезинки не было видно.

Настроение у Шведова выдалось подавленное. Он сейчас находился в том самом состоянии, когда всё валится из рук, такое состояние бывает у всякого человека без исключения, хоть раз в жизни, но обязательно бывает. Ничего не клеилось, и Шведов напрягал свою волю, всё, что у него имелось, чтобы не сорваться. Еле-еле держался.

И погода худая была виновата в этом, и голод с холодом, и то, что он увидел в Петрограде. Единственное, пожалуй, что держало его в стоячем положении, так это «Петроградская боевая организация».

Поскольку в Финляндию уходила группа Введенского, то Шведов уселся за письмо основательно, рассчитывая, что оно достигнет не только Гельсингфорса, но и Парижа, возможно

даже попадёт в руки к самому генералу Кутепову, который ныне – второе лицо после Врангеля в антибольшевистском движении.

«Организация, созданная в Петрограде – ещё сырая, но перспективная, – сообщил Шведов в письме, – её можно сделать очень разветвлённой, с отделениями, раскиданными по всей России.

Руководит организацией профессор Таганцев – человек несомненно умный, искренне ненавидящий красных и советскую власть, но в делах военных – совершенно неподготовленный, слабый. Поэтому крайне необходимо, чтобы в “Петроградскую боевую организацию” вошли люди, способные поставить её именно на боевые рельсы, создать здесь военный штаб. В штаб нужно включить самого Таганцева – это само собою разумеется, нужно включить также Германа Юлия Петровича, в него готов войти и я. Если, конечно, вы посчитаете это необходимым...»

Послание своё Шведов закончил просьбой помочь «становлению организации, которая может изменить жизнь в современной России».

Вечером он отдал письмо Введенскому.

В жидкой предночной темноте Шведов так научился ходить по Петрограду, что ему не попадался ни один патруль. Патрули он распознавал за несколько кварталов, ни разу не столкнулся с людьми, вооружёнными винтовками и украшенными красными бантами и такими же нарукавными повязками.

Так это было и на этот раз.

– Вы рискуете, Вячеслав Григорьевич, – сказал Введенский, открывая дверь на условный стук.

– Нисколько!

– Вас может сцапать патруль.

– Пока, как видите, не сцапал. И не сцапает дальше.

Введенский поцецекал языком и укоризненно покачал головой:

– Дай Бог, чтобы так оно и было.

Шведов вручил ему конверт:

– Передайте в Гельсингфорсе нашим...

– Всё будет сделано в наилучшем виде, – пообещал Введенский, подкрутил усы и повторил уверенно: – В наилучшем виде.

Возможно, так оно и было бы, если бы соратники не подбили Введенского на «экс» – по пути, перед прыжком за кордон, уговорили напасть на приграничную деревню и показать красным, кто на этой земле подлинный хозяин.

Введенский поначалу сопротивлялся этому плану, а вдруг он помешает беспрепятственному переходу на ту сторону, но потом сдался: в конце концов, солдат он или не солдат?

Но это произошло через несколько дней...

А пока Введенский вывел Шведова из дома через чёрный ход, первым выглянул во двор, а потом, из-за ворот, на улицу – нет ли там чего подозрительного? – весенняя улица была холодна и пустынна, и Введенский разрешающе махнул рукой гостю: можно, мол.

Подняв воротник лёгкого чёрного плаща, приобретённого уже здесь, в Петрограде, Шведов прощально кивнул и растворился в темноте. Введенский ещё несколько минут постоял у ворот, прислушиваясь к звукам, доносящимся из питерских углов, уловил далёкий одинокий выстрел и, равнодушно отмахнувшись от него, скрылся в доме, за дверью чёрного хода.



## Глава четвёртая

Застава Костюрина располагалась в сухом сосновом лесу, на песчаной гриве, в сотне метров от пограничной полосы.

Бойцы сами, не привлекая мастеров со стороны, сколотили большой бревенчатый дом, чтобы хоромы держались лучше, не заваливались и не подгнивали; привезли несколько подвод камней и из них соорудили надёжный фундамент. Прежний командир заставы Рогожин, ушедший на повышение, расстарался и достал, как доложил Костюрину оружейник (он же по совместительству завхоз) двенадцать мешков цемента, цемент смешали с мелкой морской галькой, с песком и этой смесью скрепили основание дома.

В доме нашлось место и для оружейного отсека, и для командирского жилья. Чтобы начальство всегда чувствовало себя на службе, и днём и ночью, специально выделили две комнаты, одну для главного человека на заставе, для командира, вторую для его заместителя по боевой части – замбоя... Из удобств – умывальник в коридоре, один на двоих, с полочкой для зубного порошка, прибитой к стене, и мутным, косо обколотым куском зеркала, которое неведомый умелец обрамил несколькими ломтями коры, в зеркало это даже и физиономию особо нельзя было разглядеть, но побриться и приложить дольку колючего столетника к чирью, вздущему на лбу, можно было, и это вполне устраивало Костюрина.

Ночью Костюрин вместе с бойцами выезжал на конях на границу, проверял наряды – бойцов важно было держать в строгости, не приведи аллах, кто-нибудь из них даст слабину и, находясь в наряде, огласит окрестности храпом, – тогда и бойцу головы не сносить, и Костюрину будет «секир-башка», но подчинённый люд хоть и молодым был и по большей части своей не шибко грамотным, а революционную сознательность проявлял, храпа на границе не было слышно, подозрительных шорохов тоже, винтовки в крестьянских руках держались крепко, и при случае эти молодые люди, в большинстве своём комсомольцы, отпор давали умело.

А стрелять приходилось часто. И гоняться за плохими людьми, переходившими границу на коровьих копытах, привязанных к сапогам, тоже приходилось часто – уж очень много за кордоном собралось народа, которому не по душе было существование новой республики, назвавшей себя Советской Россией.

Ночью ездить по лесу сложно. Любой встречный сук способен снести полголовы, выручить может только конь – умный конь никогда не подставит своего хозяина, опасность постарается обойти, а конь у Костюрина был умный. Со странным именем Лось.

Передали его на заставу кавалеристы из охрannого эскадрона – не подходил он им по масти, и чулки на ногах у него были чуть выше положенного, и коленки имел вздущиеся, простуженные. Это у коня было с Гражданской войны... При первых же выстрелах, раздающихся впереди, Лось обязательно задирал голову, прикрывал хозяина от пуль – делал это специально, делал мастерски, на скаку, умел сутками ходить под седлом, не уставал, не боялся волков, нападал на них – бил серых не только задними копытами, но и передними.

С продуктами на заставе было не ахти как, как и везде голодно, и всё равно Костюрин умудрялся угостить Лося хотя бы куском плохо пропечённого, наполовину с картофелем хлеба, иногда угощал жмыхом. Жмых Лось тоже любил, а однажды ему досталась сладкая соевая конфета... Лось от лакомства был в восторге, положил хозяину на плечо тяжёлую голову и задышал звучно и горячо, будто верная собака.

Костюрина на границу сопровождал Логвиченко – круглоголовый, подтянутый, смышлённый, в «Рассею», как иногда среднюю часть страны называют дальневосточники, он приехал из Хабаровска, и тот далёкий город ему снился очень часто, когда он просыпался, то глаза у него были жалобными и влажными. Он любил Хабаровск, хотя знал, что никогда туда уже не

вернётся: отца с матерью у него зарубили калмыковцы и закопали в яме на окраине Хабаровска, на заброшенном пустыре.

Пустырь этот Логвиченко не нашёл, где покоятся отец с матерью, не знает, потому и влажнеют его глаза. На Первой империалистической войне Логвиченко провёл год, на Гражданской – полтора года. Имелась у него ещё и сестра, но она затерялась где-то на российских просторах. Логвиченко пробовал её искать, да, увы, безуспешно – пропала сестра. Может, её уже и не было в живых, но Логвиченко в это не верил.

По лесу он двигался за командиром, будто привязанный, не отставал ни на метр, дублировал все повороты, и конь у бойца был не хуже, чем у Костюрина.

Над головой начальника заставы, тяжело хлопая крыльями, пронеслась птица, всколыхнула чёрный прохладный воздух, гаркнула резко, хрипло, не понравились ей люди на лошадях. Костюрин остановил коня.

– Кто-то спугнул птицу, – едва слышно проговорил он.

– Может, зверь какой? – предположил Логвиченко.

– Нет, это был человек.

– Будем брать, товарищ командир?

– Не будем.

– Почему, товарищ командир? Это же нарушитель!

– Не будем, Логвиченко. Это приказ.

Логвиченко недоумённо приподнял одно плечо – не понимал он таких вещей. Может, начальник заставы – бывший беляк, контрреволюционный элемент? Вряд ли, не должен быть беляком, у Костюрина есть даже именное оружие, шашка, преподнесённая самим товарищем Блюхером. А Блюхер кому попало наградные шашки не выдавал. Логвиченко сделал протестующее движение, взгляделся в темноту, надеясь увидеть то, что видел начальник заставы.

Темнота ему показалась какой-то рябой. В чёрных деревьях возникало и пропадало что-то чёрное, сверху вниз беззвучно сыпались листья, ветки дрожали, словно бы их кто-то тряс, бойцу Логвиченко невольно сделалось тревожно.

Костюрин, не слезая с коня, продвинулся немного вперёд, наклонился к стволу одного из деревьев, отодрал кусок коры, помял его пальцами.

– Зверь, – произнёс он едва различимо.

– Что зверь, товарищ командир?

– Да зверь, говорю, о дерево тёрся – лось. А я думал – человек.

– Как определили? В темноте же ничего не видно... А?

– Кому как, – неопределённо отозвался Костюрин. – Послужишь года четыре, Логвиченко, и ты научишься видеть в темноте. Всею своё время.

– Всею своё время, – заведённо повторил за командиром боец. – У меня, когда я служил в дивизионе тяжёлых мортир, отделённый любил так же говорить. На любой вопрос у него был один ответ: «Всею своё время».

Половину империалистической Логвиченко провёл в экзотическом роде войск, обслуживал 280-миллиметровые мортиры, страшные, с гигантскими жерлами орудия. Когда мортира взрывалась выстрелом, под ногами подпрыгивала земля, грозя треснуть, будто гнилой арбуз. Логвиченко первые два месяца ходил глухой от выстрелов. Лекарь сказал, что у него покалечились барабанные перепонки, но потом это прошло. Уши зажили, но выстрелов мортир Логвиченко стал откровенно побаиваться – от разящего звука могли не только уши потеть, а физиономия могла запросто съехать набок и упереться носом в плечо... А ходить по лесу с носом, вросшим в плечо, штука не самая удобная. Не говоря уже о питерских улицах. Логвиченко навсегда запомнил фамилию конструктора, создавшего тот страх божий – мортиры: некий Шнейдер. Явно немец. Или еврей.

Немцев Логвиченко не любил. За страдания, которые те причинили России, за свои собственные страдания, хотя на войне ничего страшного с ним не случилось и ту пору он перенёс относительно легко.

Костюрин видел то, чего не видел его боец, и чутьё у командира было другим, более обострённым, иногда ему совсем необязательно было видеть, достаточно было почувствовать. В эту ночь через дыру в границе уходил на ту сторону человек, которого ему велел беспрепятственно пропустить начальник разведки, и Костюрин выполнил этот приказ.

Как выполнил и первый приказ – пропустил чужака на свою территорию.

Над головой у него, бесшумно взмахивая крылами, пролетела ночная птица, но это была не та птица, что раньше, другая, движение теней в гуталиново-вязком пространстве прекратилось, лес угрюмо застыл в сонной дреме.

– Возвращаемся назад, – скомандовал бойцу Костюрин, развернул Лося. – За мной!

Логвиченко, так ничего и не понявший, развернул коня вслед за командиром. В душе у него возникла и свернулась в вялый клубок некая обида – командир мог с ним и кое-чем поделиться.

Но делиться тем, что знал, начальник заставы не мог, не имел права. Да и бойцу, его подчинённому, пора бы усвоить одно золотое правило: меньше знаешь – лучше спишь.

Тревожно было на границе.

Через четыре дня после того, как неведомый человек нырнул через прорубленную дыру в Европу, оставив в недоумении прилежного бойца Логвиченко, в дозор с усиленным нарядом пошёл замбой Петя Широков, кроме винтовок пограничники взяли с собой «англичанку» – ручной пулемёт, с пулемётом любой наряд считается усиленным по-настоящему. Широков решил проверить бойцов: все ли готовы выступить на границу?

– Ну-ка, товарищи бойцы, попрыгайте, – велел он.

Бойцы попрыгали. В кармане у одного из них загромыхал портсигар. У другого зазвякал нож, висевший на поясе, стукнулся железным наконечником чехла о подсумок, туго набитый патронами.

– Э-э-э, – недовольно поморщился Широков, – так не годится. Ну-ка, выкладывай, что там у тебя в карманах, – велел он первому бойцу, – а ты, – замбой повернулся ко второму, – перевесь нож на другую сторону ремня.

– Извиняйте, товарищ командир, – виновато забормотал первый боец, выкладывая на землю портсигар, носовой платок с обтрёпанными краями – подарок любимой девушки из родной деревни, стальную полоску – заготовку для будущего ножика, кусок расчёски, истёртое огниво с кресалом и пучком плотно скрученной в фитиль пакли и две запасные пуговицы к гимнастёрке.

– Всё это, – Широков, поморщившись недовольно, ткнул пальцем в гору добра, извлечённого из карманов, – оставить на заставе, – подцепил двумя пальцами пуговицу, поднял с земли. – Имейте в виду – такая вот зачуханная хренотень может стоять жизни всему наряду. Понятно?

– Извиняйте меня, – вновь виновато пробубнил под нос оплошавший боец.

– Ладно, – сменил гнев на милость Широков. – Если у кого-то ещё карманы полны такого же добра – освобождайтесь! Пока не поздно...

Никто из бойцов не тронулся с места, даже не шелохнулся.

– Хорошо, верю вам, – сказал замбой, – будем считать, что всё в порядке. Курево тоже оставьте на заставе – дым может выдать нас нарушителям.

– Табак сдан в краевую комнату, – сказал Логвиченко, он тоже шёл в дозор, – я лично сдавал.

– Добро, – кивнул Широков, – тогда вперёд.

Красная полоска заката, полыхавшая ещё десять минут назад – её хорошо было видно с заставы, – сомкнулась с горизонтом, слилась с ним плотью, сделалось темно, холодно. Единственный фонарь, висевший во дворе заставы на ровном, окрашенном в крикливый салатовый цвет столбе, света давал мало, его совсем раздавила ночь, больше света давали окна канцелярии и командирской комнаты, где были зажжены керосиновые лампы. Чуть заметно серела в темноте тропка, по которой надо было уйти наряду.

Можно было, конечно, взять с собой лошадей, но тогда исчезла бы вся секретность дозора. Лошади быстро выдают себя, особенно в ночи, когда обостряются, делаются хорошо слышимыми все звуки, даже самые малые – и шебуршанье пытающейся уснуть на дереве вороны, и невесомая поступь лисы, выискивающей мышей в старых норах, и плеск рыбы в озерке за воротами заставы, – поэтому Широков от «конной тяги» отказался.

Ничего надёжнее своих двоих для охраны границы ещё не придумано.

Лёгкой неслышимой трусцой Широков устремился по серой тропке в лес, увлекая за собой людей, – всего их вместе с замбоем было пятеро, – спустились в лощину, где росли толстые древние дубы с низко наклонёнными ветками, потом поднялись на небольшой взгорбок, и Широков перешёл с бега на шаг.

Ещё месяц назад здесь любила появляться рысиная семья – мамаша с дочкой. Рыси часто забирались на ветки, висящие над тропкой, и ожидали появления добычи: рысиха учила дочь охотиться. И хотя рыси на людей нападают редко, Костюрин понял, что эта парочка может причинить неприятности, и запретил пограничникам ходить поодиночке, только по двое.

Рысь – зверь хоть и невеликий по размеру, но если свалится с ветки на человека да вопьётся клыками в шею, в основание черепа, то устоять «венцу природы» будет трудно. А если поможет рысёнок-сеголеток, то шансов устоять у человека не остаётся ни одного.

Впрочем, рысиная семья делала засады не только на тропе, а и совершала длинные обходы, иногда, как подсчитал Костюрин, до ста километров в день.

В конце концов опасное соседство надоело, и начальник заставы устроил облаву, выстрелами отогнал рысье племя подальше в лес, в глубину, откуда мать с дочкой уже не вернулись.

В темноте на пограничников напал обгорелый душистый ствол старого дуба, в который весною попала сухая молния, и дуб запылал так, что его пришлось тушить ведрами, иначе бы запылали все деревья в округе. Широков, не издав ни одного звука, обогнул его, бойцы так же ловко совершили манёвр и, неслышимые, почти невидимые, втянулись в черноту ночи.

Они прошли в темноте, почти вслепую, километра три, из них два километра вдоль участка границы, когда на горизонте, над деревьями, занялось зарево, и сильно занялось, вверх взметнулись яркие языки пламени. Широков обеспокоенно огляделся и предостерегающе вздёрнул над головой руку:

– Наряд, стой!

Вытянув голову, замбой послушал ночь: что в ней? Неожиданно до наряда донёсся отчётливый, будто в воздухе разорвался гуттаперчевый пузырь, выстрел, следом другой.

В той стороне, где бушевало пламя, располагалась деревня, небольшая, в полтора десятка старых, с покрашенными цветной краской наличниками и ставнями (так повелось едва ли не с петровских времён – красить ставни и наличники) домов. Широков несколько раз бывал в деревне. Обитал в ней в основном пожилой люд... Теперь в этой деревне что-то происходило. Что именно?

– Наряд, за мной! – внезапно осипшим голосом скомандовал Широков.

Оставлять границу без указания сверху, конечно, было нельзя, а с другой стороны, оставлять без помощи деревню тоже было нельзя... В темноте Широков перемахнул через гряды густо разросшегося малинника, с треском смял несколько стеблей, на каблуках съехал в глубокий распадок, по пути ловко стянул с плеча карабин, загнал патрон в ствол – надо было быть готовым к стрельбе.

Вздыхнул тяжело, хрипло – в лёгких словно бы образовалась дырка, Широкову сделалось больно. Что-то слишком уж быстро он выдохся. Всё из-за плохой еды, из-за неё, проклятой, ребята также здорово выдохлись, сипят, будто внутри у них полопались какие-то трубы. Распадок этот был длинным, извилистым, километра полтора, не меньше, выходил почти к окраине деревни – карту здешнюю Широков изучил хорошо. Если кто-то решил напасть на деревню, а потом уйти за кордон, то уходить будет только по этому распадку. Если, конечно, у этих людей есть голова на плечах. Если нет, то могут пойти и поверху, но там идти гораздо труднее, чем внизу, много кустов, камней, много деревьев, есть вообще места непролазные.

– Логвиченко, ставь здесь пулемёт, – остановившись, замбой стукнул сапогом по дну распадка. – Тут самое то... Если полезут к границе, то полезут именно здесь. Бей, Логвиченко вслепую, не бойся, что попадёшь в своих. Понял?

– А вдруг вас задену?

– Не бойся, мы возвращаться будем поверху, по краю, в распадок спускаться не станем.

Широков оставил с Логвиченко ещё одного бойца – окающего вологодского паренька с белёсыми ресницами и белёсыми бровками, совершенно неприметными на его лице, сам с двумя другими поспешил к деревне.

А выстрелы там раздавалась всё чаще, били в основном, как определил Широков, из маузеров, пламя вздымалось высоко – горело не менее двух изб.

– Сволочи! – выругался на бегу замбой, обернулся: не отстали ли ребята?

Ребята бежали в трёх метрах от него, дышали шумно.

– Подтянись! – привычно скомандовал Широков.

В деревне снова зачастили выстрелы – один, другой, третий: кто-то самозабвенно лупил из маузера, будто молотил в барабан. Широков на бегу выплюнул изо рта сбившуюся в комок слюну, прибавил ходу. Конечно, Костюрин не оставит эту стрельбу без внимания, также пошлёт в деревню людей, и на границу пошлёт, но Широков находился к деревне ближе, поэтому и придёт на помощь быстрее...

В темноте замбой не заметил яму, ступил в неё одной ногой и чуть не завалился набок, вовремя рванул к противоположному краю, закричал от натуги, в следующее мгновение вылетел из ямы. Ловко это у него получилось, показательно, жаль, что никто из подчинённых в темноте ничего не разглядел.

– Подналяжем, братцы, на свои двои! – призывно прохрипел замбой.

Он правильно определил – в деревне горело два дома, полыхали вовсю, уже стёкла в окошках от жара начали трескаться, стреляли по-пистолетному, посреди деревни на песчаной площадке, где к сухой лосине был привязан за проволоку ржавый лемех, а на отдельной проволоке болталась железка, похожая на черенок от молотка, с навинченной на головку большой гайкой – самодельное било, чтобы поднимать людей по тревоге, лежали два мёртвых старика в исподнем... Видно было, что их вытащили из постелей и расстреляли из маузеров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.